

ГЛАВА 1

Представьте — три трещины, ромбовидные, на сереющей извести подоконника. Отколупываю тонкую трапецию краски, крошу пальцами. Из радиолы «Ригонда моно» с бумажными динамиками играет “Map of Mystery” The Shadows. Жду сквозь сырые рифы долгожданную меланхолическую тему, под которую можно изучать и дальше серую распутицу облаков над Лефортово.

Лефортово — мое, тюремное, небо не в клеточку, родимое, прудики илистые невдалеке, рыночек квашено-капустный да радиокассетный, столовка дорогая, где мы с Серегой обожрались часа два назад макаронами с подливкой.

Shadows эти, со стриженным под горшок характерным очкариком Хэнком Марвином на лид-гитаре, даже не считались запрещенкой, под них вроде в очередной панфиловской мелодрамке танцевала панфиловская Чурикова с мордастым Куравлевым.

Курю «Приму» в форточку — на большее денег нет. Одолжи хоть рубль, нимбоокий мой Сашка, ты ботанишь с сентябрьских дней первака, ты микроинфаркт словил на первой сессии. Одолжи! А, жалко, сволочь... Ну ладно... От тумана общажного курева идем далее.

Сильно я забежал вперед, конечно. А впрочем, нужно было винить бессонную лупоглазую ночь, когда

мы с Серегой прокуковали до одиннадцати на «Речном», в видеосалоне у Алика, где, ежась в клетчатых креслах, просмотрели всю «Долларовую трилогию». «Пригоршню», сжевивая пену с фигуристой бутылки «Жигуля», я заставил Алика промотать до трубы Морриконе, где Иствуду стреляли в печную заслонку сердца. Зато «Хорошего, плохого, злого» смотрели, почти не прикладываясь к горлышкам, слушали гнусавого переводчика как иезуитского падре: я встал на колени во время тройной дуэли, Серега мученически кусал губы и икал.

Потом же была смурная вахтерша, ядреной матерью культурно нас обматерившая. И разрывающий виски будильник за стеной, где дрых Стас, военный заочник, лысый, лет под тридцать пять, по вечерам читает Канта и наполняет комнату запахом сапожного крема. Всегда поднимается первым, а за ним все — гуськом, по цепочке. В шесть утра душ — вначале вечный ад, но в половине седьмого нам, полуистекшим потом и дремотной слизью, уже можно ждать горячую воду. Девчонки с пээма* всегда занимают очередь первыми, а за ними — кто успел. Процесс отлажен, каждый студентешка с потекшим от холода носом знает свое место.

В коридорах у нас что-то среднее между моргом и свинарником: в углах тумбочки с остатками еды — бумажные обертки от бутербродов, соленые огурцы, вечный аромат яичницы, ну и, конечно, запах лука, которым мы перекусываем, бесстипендные, перед зачетами. Каждый этаж — как небольшой клан, и все завсегдатаи братаются друг с дружкой.

Потом же, кое-как причесавши вихры и обрядясь в плюгавенькую одежонку, надо топать на учебу.

* ПМ — факультет прикладной математики.

Преподы у нас не просто препода — это люди, которые стояли у истоков отечественной космонавтики, кибернетики, баллистики. Один такой, профессор Виноградов, легенда, — еще тот сухарь, но по-настоящему ему важно, чтобы ты понимал, как все работает, а не просто сдал зачет. При нем на кафедре висит плакат: «Вопросы на лекции задавать не стесняться!» Понятное дело, никто не задает, разве что ботаны с первого ряда.

Впрочем, есть и профессор Сергеев, он будто сошел со страниц журнала «Техника — молодежи». Ретивый, худой, с козлиной бородкой, всегда держит руки в карманах и бубнит себе под нос про трансформатор Теслы, хотя это никому не интересно. На его лекциях мы иногда спим. А на семинарах Сергеев на нас орет, будто в армии, — чтоб хоть как-то растормозить.

А вот и пара по теормеху. Препод — заслуженный Коротков, человек-феномен, способный за два часа успеть прочесть двадцать страниц конспекта и рассказать про новые векторы, которых еще никто и не видел. Его философия проста: «Теория — это вам не баба, здесь мозги нужны!» Честно говоря, его цитаты потом ходят по всем курсам, превращаясь в легенды.

Но давайте-ка к делу. Выползаю я из нашего корпуса, подбоченься. Общага в Лефортово — отдельное государство. Каждую пятницу здесь устраивают подпольные «междусобойчики» — сборы комнат, где можно посидеть, поговорить о жизни, обсудить, какой препода круче и кто куда после выпуска подастся. В одной шарашке играют в карты, в другой — спорят, кто первым пойдет уламывать фарцу на «джинсы из Югославии». Девчонки на нашем этаже варят супы и проклинают нас за бесконечный шум гитарных аккордов Лаврика-Вишеса из седьмой.

В общаге всегда найдется тот, кто сдает хозы или кто «приобщился» и взял на себя домашку троих друзей, лишь бы те «не попадались». Мы здесь как одна большая семья, каждый со своими обязанностями, устоявшимися нормами и порядками. И каждый — как одна клетка этой большой организации, которую не понимают на «материнской кафедре».

Осень золотая, пропащая осень, мокрыми листьями тебя успокаивающая, перегноем лечащая раны, глядящая по третий день немытым волосам гребенкой из десятиградусной дымки, что поднимается над черными зеркалами луж. Я уже ничего не жду и не хочу. До первой пары полтора часа, и теоретически можно прошагать свободных пятьдесят минут пешком до универа, но вместо этого думаю, что лучше снова макну себя в креозот «Авиамоторной», а уже на «Бауманской» сделаю крюк по Новой Басманной.

Что я и проворачиваю. Петляю среди трехэтажек, уже хочу миновать площадочку с бюстом Ленина, что застрял в клумбе с мертвеющими тюльпанами, и неожиданно вижу толпу. Негустую, человек этак семь, но и этого достаточно для обыкновенно пустой бесскамеечной площадочки. Я замираю и становлюсь восьмым зевакой, осторожно подходя к толпе и заглядывая поверх голов.

У бронзового Ильича вокруг шеи плотный железный обруч, от которого тянутся тонкие звенья цепи прямоком к живой, розовой от холода руке.

— Дура! — сдавленно вскрикивает какая-то женщина, комкая в руках холщовую кошелку.

Дура на вид лет двадцати двух, чуть постарше меня. Сначала обращаю внимание даже не на лицо, а на аскетически худое тело, на котором почти висит

блузка-безрукавка с легкой вязаной жилеткой цвета традиционного коврового ворса. Ноги сверху в узкой зеленой юбке, снизу черные чулки, смятые туфли. Ее вид заставляет меня поежиться и плотнее запахнуть свой плащ. Потом все ж поднимаю взгляд на лицо, делая два шага, вступаю в первый ряд. Лицо ее красиво по меркам Средневековья и картин Босха. А так страшно. Обветренное, щеки — провалы, подбородок вытянут, глазницы — тоже провалы, но куда глубже. Выдает одна лишь химзавивка, да и та рваная, русоватые волосы ветер несет, чтоб не соврать, на северо-запад.

— Да что вы стоите, милицию вызывайте!

— Я уже мужа отправила...

— Девка, блядь, сымай с Ильича эту удавку, сколько он тут стоял — нет, одной тебе помешал!

Думаю, что встревоженности в толпе больше из-за этого лишнего босховского мазка в ярком образчике соцреализма. Ожидаю слов о святотатстве и контрреволюции, однако ничего подобного не слышу. Зато понимаю, что молча пялюсь на нее в упор уже больше минуты, мы пересекаемся взглядами, и девка обращается ко мне:

— Эй, студент, сигареткой не угостишь?

Голос у нее очень хриплый, будто сигаретами питается на завтрак, обед и ужин. Тем не менее, не опуская глаз, аки собака Павлова, шарю в кармане, выстреливаю одну и, чувствуя пристальный взгляд толпы уже на себе, подхожу поближе к мертвой клумбе, передаю девке сигарету, удерживая за кончик фильтра. Кисть с браслеткой уже начала приобретать голубоватый оттенок, как и тонкие губы, настолько тонкие, что кажется, будто у девки нет рта. Папиросная скрутка белеет в очередном провале, я любезно и не до конца понимая даю

прикурить. Огонек освещает грязные радужки, мутнее, чем черная вода в асфальтовых лужах. Девка делает первую затяжку.

— Тебе ведь холодно. — Голос у самого странно сдает. — Может, отстегнешься?

— Ключи проглотила, — усмехается девка, сводя на переносице густые брови. — А на холоде, знаешь, живой себя чувствуешь.

— Но зачем... это? Ленин тебе что сделал?

Конец моего вопроса тонет в шарканье колес паркующегося «бобика». Вылезают двое — усталые, постные, тот, что помоложе, кутается в куртку.

— Вот сейчас и погреюсь, — подмигивает мне девка и, наклоняясь, шепчет в самое ухо: — Если не забздишь, приходи через пару дней к нам, объясню. Найдешь меня через Сеньку-лабуха, он метропольский. Скажи, что ищешь Элю, — поймет.

В голове сбивается комок топленого масла, немного подташнивает. Вижу, что менты заканчивают что-то выяснять у заполошно трещащей кошелки и направляются к нам. Напоследок даже не киваю, только пересекаюсь с ехидной грязнецей в ее глазах и, удерживая себя, чтоб позорно не побежать, быстрым шагом иду прочь. Менты многозначительно смотрят на меня, но кошелка неожиданно спасает, слышу:

— Да он только прикурить ей дал!

До универа добираюсь почти вслепую. Опаздываю к Виноградову на десять минут, благо лекция, конспект возьму у Натали. Мысль о судьбе этой Эли не дает покоя, в голове образы снятия с креста и что-то из Шукшина. Ильич хмурит бронзовые брови, но остается бесстрастным как с удавкой, так и без нее. Толпа наверняка рассосалась. А вот Эля... Судя по слабой какофонии,

задавленной кое-как призванным белым шумом, сопротивление она и не думала оказывать, по крайней мере, пока я не свернул с Басманной. Ругались, конечно, но все подавил белый шум.

Ругнулся и Виноградов, двумя словами. Сижу около Натали, та не смеет и слова сказать во время полупары, лишь в перерыве, когда вымаливаю конспект, спрашивает:

— Чего опоздал?

— Да девка одна на Басманной себя к бюсту Ленина пристегнула, — отвечаю как можно беспечнее. Это ведь в порядке вещей... Нет. Не в порядке.

— Зачем?

— Мне бы знать...

Переписываю волнами аккуратный почерк Натали, почти не вникая в суть. Протягиваю клеенчатую тетрадь обратно, как бы невзначай касаюсь нежного ребра ладони, дарю улыбку. Натали смущается. Она похожа на Беату Тышкевич. Мягкая медь волос, гладкий лоб и длинные ресницы. С Натали подружился в первую неделю учебы, таскались друг за дружкой в столовку на большом перерыве. Натали из Куйбышева*, живет у тетки, сразу после пар бежит к ней. Преподы Натали всегда хвалят, не делая скидку на то, что женщина. Полные конспекты, почти всегда «автоматы». Но не зубрилка. Разве зубрилка может быть похожа на Беату Тышкевич?

Сокурсники нас уже женили, и Натали, готов поклясться, это льстит. Даже когда у меня на первом курсе имелась Ксенька, Натали, постигавшая флирт, была со мной неразлучна. Но только в универе.

* В январе 1991 года переименован в Самару.

И вот «Ригонда моно» продолжает выводить «Мистического человека». Или «мужчину», кому как нравится. Я обожрался макаронами и вместо того, чтобы делать сопромат, размышляю об Ильиче, цепях и этой Эле. Это даже не Конан Дойл, это Энид Блайтон, не обсохшее на губах молоко, детская игра в детективов под лимонад в мамкином гараже и дело о краже заборной доски. Пару дней, шептала она. Занятно, какая статья запрещает приковывать себя к бюсту Ильича. Решаю, что вандализм, и Эле светит минимум пятнашка. Судя по прогнозу в Серегиной «Комсомолке», в следующие дни ударит дождь, и тащиться еще куда-то помимо универа я не собираюсь. Тем не менее Алик еще не скоро достанет «Однажды в Америке», а дело о цепях и Ильиче... Дело должно быть закрыто.

Болезненно корябает разве что упоминание «Метрополя». Последний раз сидели там с Ксенькой в этом январе, букет белых роз в хрустальной вазе, крахмал ска-терти, яйца под майонезом у меня, у нее же — черный кофе. И сама Ксенька — коротко стриженные, аккуратно уложенные волосы, черные брючки — юбки не признавала. Строгий взгляд, под которым стыдно за эти маслянистые яйца, этот жирнющий майонез, а уж об плоскую подошву говяжьего языка впору было убиться. Ксенька всегда платила сама за себя, такова была наша договоренность с самого начала отношений. Ксенька выступила инициатором, и поначалу это был единственный способ гульнуть так, как хотелось востроглазой дочке каких-то номенклатурщиков. Она не любила мои кино и дискотеки, я — ее спектакли, но тем не менее захаживали с ней в Большой и Театр сатиры, что-то мне даже нравилось, где-то откровенно спал. А Ксенька не возмущалась. До поры до времени. Я встречал ее у юридического, мы

гуляли, а потом ехали к ней на «Таганскую». В трехкомнатке с тяжелыми бордовыми обоями, бабушкином наследстве, мы самозабвенно тискались и трахались, потом пили кофе, а Ксенька ставила довоенные вальсы. Тогда мне все казалось идеальным. А потом что-то коротко оборвалось — ни взрыва, ни треска, ни вскрика.

Что-то с ее семьей, подозреваю трагедию, Ксенька не истерит, но замыкается в себе сильнее, чем прежде, отвергает расспросы и помощь. Чаше ссоримся, меня словесно линчуют за бедность духа и называют «поганой лимитой». В один из дней все рушится окончательно, несколько пьяные, сипло собачимся часа два, затем она спокойно рвет подаренные мной бусики и так же спокойно бросает их мне в лицо. Я ухожу. Полгода ненавижу и проклиная Ксеньку, москвичку — в жопе спичку, а думаю о ней ежедневно. К сентябрю отпускает, может, благостно сказалось внезапное теплое лето в родном Ленинграде и пьянки с бывшими одноклассниками. Начинаю читать переписанные от руки «Записки психопата» Ерофеева. Подтягиваюсь по теормеху. Ксенька забывается.

В «Метрополь» пойду — вытаскиваю пластинку из радиолы, решаюсь. Серега задерживается на рынке, а комната успела промерзнуть — так и не закрыл форточку во время дурных размышлений. Кончики пальцев ледяные, а лицо горит. И тем не менее я еще жив.

ГЛАВА 2

Слушаю «Смерть Арлекина» Шнитке на радиоле. Кажется символичным. Только паяц не я, а Эля. Кто в здравом уме прикует себя к бюсту Ленина? Прошли две недели, те самые пятнадцать суток, что она ела казенный хлеб. Наверное. Поэтому Арлекин, как видно, жив, и я, вместо того чтобы смотреть с Сергей у Алика «Однажды на Диком Западе» и любоваться простреливающей голубизной глаз Генри Фонды, погасив пластинку, еду в «Метрополь». Окольно, до «Лубянки», госужаса, в креозоте. Сеньки-лабуха, может, и нет на месте, значит, просто выпью водки на одну десятую моей стипендии. Вспомню Ксеньку, белое лицо, черную шапочку волос, яйца под майонезом. Ксеньку, пропащую и мучительно невытравимую.

Ресторан «Метрополь» — мираж, галлюцинация среди давящей московской осени. Я обрядился в лучшую пиджачную пару, как в январе, на одно из последних рандеву с Ксенькой. Пол, словно зеркало, гладкий и блестящий, отражает золото в каждом углу так, что от роскоши сразу начинает болеть голова. Даже дышать неудобно — кислород, кажется, тоже фильтруют от «проstonародных примесей».

Официанты в черных костюмах — ну, они просто выученно глазют на тебя, сканируя, будто на твоём лице метка «Я тут случайно». С потолка свисают люстры,

похожие на венцы, плетенные из стеклянных капель. Эдакие канделябры для тех, кто в жизни и так сидит под прожекторами. Музыка — что-то мягкое, почти неувловимое, нежная французская бархатная ткань, та самая, в которой снимаются голые модельки для западных журналов. Но и она не убаюкивает, а напоминает: ты тут лишний, мальчик. Твой просроченный пиджачок, твои косые стрелки на брюках — они как красные флажки, сигнализирующие, что тебе сюда нельзя.

Рядом сидит пара мужиков в костюмах, серо-бурые лбы, волосы назад зализаны, и сигареты, конечно, «Мальборо». Они смотрят на меня с улыбкой, как на приبلудную собачку. Один из них что-то шепчет другому, оба начинают посмеиваться, а я, как ни стараюсь притворяться глухим, воспринимаю это на свой счет. Как воспринимал, сидя в этом лучшем из своих пиджаков напротив чопорной Ксеньки с ее черным кофе. Хочу провалиться сквозь чертов зеркальный пол и снова оказаться на улице, где не пахнет вычурным дымом и где никто не дышит на тебя гаванской сигарой и местечковым высокомерием.

Метрдотель хочет спроводить меня за дальний столик, но без обиняков спрашиваю: «Подскажите, где музыкант Арсений, я по знакомству его ищу». Метрдотель морщится:

— А, к Сеньке-лабуху? Так бы сразу и сказал. У него щас смена, еще три часа отполировать должен. Жди на улице.

Упрямлюсь и заказываю самой дешевой водки. Официант попадаетса поговорчивее, красноглазый и загнанный, как непристреленная лошадь.

Смотрю из угла на Сеньку, солидного, волосы ежиком, лицо полновато-благородное, в полупрофиль видны

большой рыхлый нос и такой же подбородок. В твидовом клетчатом костюмчике, играет Моцарта. «Турецкое рондо», что ли? В какой-то радиопередаче звучало.

Трачу уже одну шестую стипендии на полуштоф. Стремительно пьянею без закуски. Сенька начинает лабать джаз, мотая в такт головой. Наконец, когда уже стрелка на десятке, пианино больше не полируют, закрывают лакированную крышку. Я успел три раза сбегать покурить и два раза в сортир. Лицо покраснело. Вытираюсь накрахмаленной салфеткой, иду к Сеньке, уже ни на что не рассчитывая и жалея о просранном времени. Сенька кадрит официантку, как бы смахивая с ее накрытых фартуком сисек пылинку. Не выдерживаю.

— Привет. Есть разговор, — заглядываю ему в чуть раскосые усталые глаза.

Сенька отрывается от официантки, недоуменно шмыгает носом.

— Я от Эли, — шепчу одними губами, как фарце, с которой контактил всего два раза ради бежевых бермудов и гавайской рубахи, оказавшейся столь аляповатой, что в итоге пошла на тряпки.

В глазах Сеньки мелькает тревожная тоска. Он быстро напяливает на себя светлый плащ, долго вяжет пояс нервными пальцами, а затем манит меня на улицу. Закуриваем у парковки.

— Откуда ее знаешь? — хмуро спрашивает Сенька.

Выкладываю ему все про Ильича с железным обручем удавки. Сенька понимающе хмыкает.

— Элька может. По чесноку, она меня уже успела заебать, пардон за мой французский. Связующее, блядь, звено. Ты извини, устал после смены.

Он затягивается, выдыхает пуховую перинку дыма.

— Так проводишь меня к ней?

— Поздно, чувак, а у меня телка нетраханая. На Китай-городе они тусуют. Могу дать адрес, сам дойдешь. Ты не смотри, что поздно, у них там какая-то выставка. Черт бы побрал, с акционистами связываться...

Сенька сплевывает. Я запоминаю адрес. Недалеко от пельменной на Маросейке, где Серега хрящиком чуть не сломал себе зуб. Я киваю, желаю Сеньке удачи с телкой и иду по почти что ночному и пьяному центру Первопрестольной.

Вскоре стою в закромах, к которым почти бежал по склону, под мятой папиросной афишей, что выглядит как арт-деконструкция учебника по русской литературе. Рваный лист, блеклая печать, слова, словно обкуренные, разбегаются по бумаге: «Группа радикальных художественных практик “Иксантропия” представляет: “Чувства бронзового тела”».

Какая-то девка рядом жует жвачку, выдутую, как бесформенная американская мечта, а потом затягивается «Космосом».

— А это — це наш сквот, — брякает она, поглядывая из-под химзавитой челки желтых волос.

— А шо це значе — сквот? — спрашиваю у этой любительницы поговорить по-конотопски.

А сквот — это не дом. Это то, что получилось бы, если бы коммуналка встретила с черным рынком и произвела на свет безумного ребенка.

Раздолбанные стены, мебель, которой давно пора в музей советской нелепости, и аромат свободы — тот же, что у подмышек гитариста после трех часов концерта.

Полуподвал. Пахнет табаком, спиртом и чем-то скисшим. Желтые волосы ведут меня вдоль слабо подсвеченных голых бетонных стен с остатками плесени, где висят то листы, разрисованные вывернутыми глазами

воронов с кровавыми сосудами, то лихорадка из цветных и черно-белых линий, то прибитый стульчак унитаза, то (меня замутило сразу) распятая и вывернутая тушка ягненка или козленка с раскрашенными в бронзу смердящими кишками.

Говорю девке:

— Ты куда меня привела, цирк какой-то!

Она усмехается:

— Это не цирк, а новое искусство.

И вот, проходя по длинному коридору, вдруг я встречаю Элю, о чем-то громко вещающую команде таких же пришибленных сотоварищей. В руке у нее стакан с чем-то бурым, очень сильно двигаются морщины на открытом лбу и такие же мимические складки около рта. Худющая. Отвратительная. И при этом невыносимо притягательная. Отчего же?

Тут же подхожу к ней.

— Я — тот самый студентик. Звала же? — сразу нагло спрашиваю.

Эля отрывается от своих собеседников, смотрит на меня пристально своими грязными глазами.

— А, студент, помню тебя, помню. Освободили меня, немного совсем продержали. Ленина-то я даже не поцарапала. А они мне какой-то вандализм впяли...

— Но это и правда был вандализм, — выпаливаю из занудства. — А у тебя тут, — не давая ей вставить слово, — что, правда выставка? С кишками, да?

— Здесь тебе не Эрмитаж, мальчик, — жестко обрывает меня Эля. — Ты хотел что-то тут выяснить. Ну так вот, мы — акционисты, мы — арт-группировка, мы ломаем искусство, срываем с него драпировку. Мы — больше не картины в золоченых рамках. Мы — это сама плоть, понимаешь?

Я киваю, хотя ничего не понимаю, кроме этих пафосных цитат.

— Ты всегда так говоришь, да?

Эля молча отходит от своих спутников и ведет меня в одну из многочисленных комнат этого сквота.

— Так и есть. Как там тебя зовут?

— Володя.

— Володя... Мне не нравится это имя. Чем занимаешься хоть?

— Я в Бауманке учусь, на оператора вычислительных машин.

— А-а-а, — отстраненно протягивает Эля, будто б это все невыносимо. — Еще чего хорошего скажешь?

— Ну, языки программирования там учу. Ассемблер, например...

— Ассемблер, — Эля пробует на вкус самое обыкновенное название. — А мне это нравится. Я так и буду тебя звать. Ты же не против?

Я уже не против ничего. У нее чудесно сокращаются эти нервные складки на лице. Эля на самом деле ужасающе прекрасна — только сейчас, выкушав полуштоф водки, я это понимаю.

— Ладно, тут все ясно. Ты акционистка, как это, бросаешь пощечину общественному вкусу. Вроде так говорил Маяковский...

— Да какой сейчас Маяковский?! — фыркает Эля. — Я бы тебе могла показать настоящих деятелей — Абрамович, Бердена... Не слышал никогда о таких, ведь правда?

Опять киваю. Конечно, о таких не слышал, для меня эти имена — пустой звук.

— Я кино люблю. Сердžo Леоне.

— Сердžo Леоне! — презрительно повторяет Эля. — Нет ничего в нем искушенного. Так, делает всякие

пострелушки на потеху публике. А ты смотри, может быть, тоже прикоснешься к бронзовому миру. Бронза — она ведь простая, не золото и не серебро. Вот она тут. Видел же кишки в бронзовой краске?

Снова киваю.

— Превратить в монумент, в памятник, которому будет кланяться поколение, можно что угодно. В этом и наша акция. Тут еще несколько работ наших. Вот познакомься, — указывает в сторону на анемичного и хилого очкарика, — это Фил, он картины кровью рисует, — и затем на ту девку с химзавивкой, — а это Карина, она хочет придумать одежду, которая будет гореть, при этом ее саму не сжигая. Чтобы акции проводить и самой не сдыхать, понимаешь же?

Я заворуженно бреду за Элей по сквоту.

— А это кто? — про парня, что сидит за столом и оживленно дискутирует. У него вялая борода, окаймляющая подбородок, рыжеватые и как будто крашенные волосы, темные глаза — это видно сразу, потому как они блестят от выпитого алкоголя. У него, вытянутолицего, закатаны рукава свитера, на сгибах локтей лиловеют вспухшие вены. «Гоняет по вене», — думаю я и выразительно смотрю на Элю.

— Это? А, это Венька Мелахберг. Он не наш, он просто тут, как бы это сказать, пришлый. — Элины грязные глаза стреляют по парню почти что убийственно. Но тот лишь выпивает очередной стакан водки. — Он такой, знаешь ли, сын богатеньких родителей, но парень неплохой. У него своя арт-группа есть, называется «Анатомическая трансцендентность».

— Как? — Я едва могу это все запомнить.

И Эля повторяет:

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru